

ЕЛЕНА
СКУЛЬСКАЯ



Мраморный
лебедь



ДЕТСКИЙ
РОМАН



Елена Григорьевна Скульская

Мраморный лебедь

Серия «Самое время!»

*Текст предоставлен правообладателем.
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=14545774
Мраморный лебедь: Время; Москва; 2015
ISBN 978-5-9691-1426-5*

Аннотация

В «Мраморном лебеде» причудливо переплетаются три линии. Первая – послевоенное детство, мучительные отношения в семье, молодость, связанная с карикатурно-мрачным Тартуским филфаком, где правит Ю. М. Лотман, рассказ о дружбе с Довлатовым и другими... Вторая линия – сюрреалистические новеллы, родившиеся из реальных событий. И третья – особый взгляд на те великие произведения литературы, которые более всего повлияли на автора. Всё вместе – портрет эпохи и одновременно – портрет писателя, чья жизнь неизбежно строится по законам его творчества. Роман – финалист «Русского Букера», лауреат премии журнала «Звезда» и премии фонда «Эстонский капитал культуры» за 2014 год.

Содержание

Две персиковые косточки	5
Машенька и мамочка	8
Мраморный лебедь	10
Лисичке не больно	14
Дагерротип	20
Зимним вечером	26
Шуба	29
Красный бантик	32
Мама	39
Зоинька, ты кто?	41
Конец ознакомительного фрагмента.	42

Елена Скульская

Мраморный лебедь

Детский роман

© Елена Скульская, 2015,

© Валерий Калныныш, дизайн, макет, 2015,

© «Время», 2015

Две персиковые косточки

Доченька моя сидит на крошечной табуретке в нише. Стены выложены неверным стеклом – выпуклым и близоруким. Свисают шланги, на них, медленно и тяжело раскачиваясь, набухают непросохшие клизмы. Еще есть огромные тазы, поманившие было сходством с тазами для варенья на даче, но за этой приманкой показались проколотые вишни с густыми каплями сока, как та капля, что была только что выдавлена из ее пальчика, и тазы наполнились больничными запахами. А она сидит на табуретке в нише, как в глубине сцены, и отдернут прорезиненный занавес, заляпанный марганцовой и поросший наслоившейся грязью; она сидит тихо, как только умеют сидеть дети, ждущие беды. И я знаю, что с ней произойдет. Я знаю, что на нее наденут тяжелый мясницкий фартук, словно она заодно с теми, кто сейчас к ней подступится, и тоже хочет, чтобы кровь не разбрызгивалась; она зажмурится сейчас, раскроет рот; сначала каждую glandу проткнут длинной кривой иглой на шприце, а потом вырвут, и они по очереди упадут на фартук; и она наклонит голову и увидит их и запомнит на всю жизнь. И навсегда возненавидит проколотые вишни с выступившей тяжелой каплей сока, и персики в подростковом пушке, потому что их косточки, пористые, с неотделимыми кусками мякоти, будут напоминать скатывающиеся по фартуку glandы. И звенеть будут

в белых судках металлические холодные инструменты, так звенеть, что невыносимо будет потом видеть на улице духовые оркестры.

Она сидит голая на табуретке, ей четыре года, и спрашивает утвердительно:

– Я пока поживу здесь, да?

И обводит взглядом неверное выпуклое стекло.

– Мамочка, я пока поживу здесь, да?

И пытается представить, как здесь можно прижиться и обустроиться.

Всё это я вижу боковым легким зрением, потому что больше всего мне сейчас хочется курить. Может быть, и выпить, но сначала курить. Я кашляю, когда долго не курю, когда дым не обдаёт легкие. Сигареты – это укрытие; это – печка, в которой тычется в заслонку огонь и просится наружу, а ему нельзя, он заперт, разве что оторвет он от себя и выбросит на медную приступку возле печки красный лоскут, летучее рыжее кошачье письмо, словно хозяйка уже схватила кота за загривок, а он всё машет лапой блюду с холодцом. Ну вот, дрова в печке устраиваются поудобнее, и мой отец, зажав сигарету между коричневыми лунками прокуренных пальцев, сейчас начнет читать стихи о милом мальчике, который хочет стать поэтом, не зная, какие бешеные волки бродят по дорогам скрипачей. И мне самой четыре года, и огонь рвется из печки, и жжет лицо ужас и счастье, которые выпадают на долю поэта и скрипача.

– Да, немного поживешь тут, – отвечаю я доченьке.

Мы выходим с ее отцом на больничный двор, видим окно, наполовину замазанное белой краской; хворые деревья в осеннем тряпье похмельно трясутся под ветром.

Машенька и мамочка

– Машенька, вставай, дорогая, последний кусок остался.

– Ешь, мамочка, мне не нужно.

– Тебе не нужно, Машенька, да мне-то нужно!

– Вот я и говорю: ты ешь, мамочка.

– Что мне есть, когда последний кусок остался. Ты не понимаешь? Я такой эгоистки вообще никогда не встречала на всем земном шаре. Что ты там лижешь? Крошки? Кто с пола разрешил брать?!

– Мамочка, не бей по ручкам. Ты меня не сможешь на органы продать!

– Хочешь, чтобы я тебя на органы продала сейчас?! Отвечай матери!

– Я не знаю, мамочка, я больше есть не стану никогда в жизни, правда, не стану.

– Что ты раскачиваешься из стороны в сторону? Что ты раскачиваешься, будто как маятник. Будто маятник мне пошее бьет и голову мою отсекает, как лишнюю. Ему иначе время не проложить по всему земному шару, маятнику... Машенька, кровиночка моя, ты правда хочешь, чтобы я продала тебя и пожила немного, как человек, я ведь устала, Машенька, так устала.

– Мамочка, ты забыла? Ты теперь сними с антресолей коричневый чемодан. Осторожно, тот большой, где железки на

уголках, я туда заберусь, а ты закроешь. Потому что иначе меня из дома не вынести незаметно, соседи увидят и все узнают. Мама, не этот, я в этот не влезу, мне нужно будет ножки прямо к подбородку поджимать.

– Да какая разница?!

– Такая разница, мама, что я еще Катю должна взять с собой.

– Ах, Катю? Кате ты вчера голову оторвала. Забыла?

– Баба Нюся голову пришила, да! Катя со мной ляжет. Меня на органы продадут, а Катя будет жить и не умрет никогда на свете.

– Умрет. Я рожу новую девочку и подарю Катю ей.

– Не подаришь!

– Подарю!

– Не подаришь!

– Подарю!

– Не подаришь!

– Машенька, хватит, дорогая. Мне на работу пора. Вот вернусь вечером, и опять поиграем. Только утро, хорошая моя, а я так устала, Машенька, так устала.

Мраморный лебедь

Я знала, что рано или поздно лебедь расправит крылья, взлетит и убьет меня. Он стоял под потолком на узеньком поребрике печки, держась еле-еле; мраморный, со старческими склеротическими прожилками; между крыльями мрамор был вычерпан – там была пепельница; все курили. Лебедь придерживал своей тяжестью темное красно-коричневое рядно, которое мама называла плахтой (когда услышала слово «плаха», я сразу узнала это рядно); плахта прикрывала длинную печь, выкрашенную блекло-зеленой масляной краской. Печь протискивалась, пятясь, из кухни, где на ней готовили, а столовую она согревала спиной. И я лежала внизу, под лебедем, край плахты прятался за моей подушкой, и лебедь должен был непременно взлететь, и упасть камнем мне на грудь, и убить.

Но еще больше лебедея я боялась оставаться дома с сестрой, когда родители уходили в гости. Она закрывала за ними дверь и гасила везде свет; занавески были раскрыты, и в окно падала камфорная желтая луна; был больной полумрак. Наступала полнейшая тишина, ни скрипа, ни звука, живая и шумная наша квартира накрывалась с головой сумраком и замирала.

– Зоинька, Зоя, ты где? – звала я, елозя спиной по той самой плахте, которую придерживал наверху мраморный ожи-

вающий лебедь. Медленно, раскачиваясь, входила в комнату моя сестра – мне было пять лет, ей, значит, шестнадцать, она входила медленно-медленно, окунаясь в желтые лунные отсветы, руки ее были расставлены и пальцы скрючены, как когти. Ее жесткие, черные, выющиеся тонкими проволоками волосы были распущены, вздыблены и разбросаны вокруг головы. Она молчала и шла на меня медленно, и пальцы были скрючены, как когти.

– Зоинька, ты кто? – шептала я умоляюще. – Кто ты, Зоинька?!

Но она молчала и надвигалась и наклонялась ко мне, все так же не произнося ни звука.

О, как этот ужас молчания известен нашей литературе! Хома Брут в «Вие» Гоголя больше всего пугается молчания старухи, а не бесовских ее превращений. Он спрашивает, ему не отвечают. И этот пробел ответа стремительно превращается в пропасть. Сначала Хома спрашивает, что бабусе нужно ночью в хлеве. «Но старуха шла прямо к нему с расprostертыми руками». Второй вопрос он начинает со слова «слушай», проверяя самую возможность разговора. «Но старуха раздвигала руки и ловила его, не говоря ни слова». Третий раз он кричит, надеясь, что она всего лишь глуховата и оттого не отвечает ему. «Но старуха не говорила ни слова и хватала его руками». Полнейший ужас испытывает Хома, когда и сам лишается голоса: «...он с ужасом увидел, что да-

же голос не звучал из уст его: слова без звука шевелились на губах».

В «Великом инквизиторе» – поэме Ивана Карамазова у Достоевского девяностолетний инквизитор «говорит вслух то, о чем все девяносто лет молчал». (Молчал, держа тем самым в страхе всю Испанию.) А пленник – Иисус Христос – молчит до самого конца.

«– А пленник тоже молчит? Глядит на него и не говорит ни слова?» – спрашивает Алеша Карамазов. «Да так и должно быть во всех случаях», – смеется Иван.

Выговорившись, инквизитор умолкает и некоторое время ждет в надежде, что ему ответят. «Ему было тяжело его молчание». Но ему ничего не отвечают, ибо страх Божий продолжается, а время развешшего уста инквизитора кончилось.

А еще раньше и не в нашей литературе трижды появляется Призрак в «Гамлете», не говоря ни слова и повергая стражу в ужас. «Стой! Молви, молви! Заклинаю, молви!» – кричит ему Горацио и не получает ответа. С этого молчания и начинается кошмар «Гамлета». В финале, среди горы трупов, Горацио получает от Гамлета рифму к началу трагедии: «The rest is silence» – «В остатке – тишина».

Я же догадывалась, что мраморный лебедь и моя сестра как-то связаны порукой будущего убийства, и готовят его, и только дают мне отсрочку. И я, пятилетняя, кидалась к сестре сама, повисала у нее на шее, прорывалась сквозь колючую

проволоку волос, жалась к ней, чтобы всё кончилось и обернулось родством.

Каждый раз, когда родители собирались в гости, я умоляла их не оставлять меня (но никогда не жаловалась на сестру – так поступают многие дети, не веря в правдоподобие реальности) и всегда знала, что исключения не будет, никогда в жизни! Может быть, вся жизнь выстроилась бы иначе, если бы они хоть один раз остались и не ушли в гости.

Я задолго распознавала признаки надвигающегося кошмара: мама загибала специальным станочком ресницы, надевала выходное крепдешиновое платье с белыми полотняными подмышниками (они, как и сиреневые теплые зимние штаны с начесом, когтили меня ужасом всю жизнь); открывался стеклянный флакон с крышкой в виде кремлевского шпиля – «Красная Москва»; засовывалась спичка в металлический тюбик с помадой – помаду выковыривали до самого доньшка – и мазались красным губы; мама вставала на каблуки, и икры ее поднимались, и ноги ее казались двумя факелами на узких древках. С этого момента всё было безнадёжно, они уходили.

Лисичке не больно

Мама рассказывала историю моего рождения, как скверный анекдот.

Ей очень хотелось после войны пожить и покупать вещи. Она была совершенно равнодушна к деньгам, никогда их не копила; в 1952 году отец получил бешеный гонорар за роман «В далекой гавани», гонорар, на который можно было купить, например, машину «Волга» или построить дачу, но родители его просто прокутили в Сочи за один месяц отпуска, полученного мамой на фанерно-мебельном комбинате. Но после войны хотелось вещей.

Накрывались крахмальной скатертью столы, запекалась буженина, варился холодец. Холодец заливался в специальные формочки с плиссированным, словно юбочка, верхом. На дно формочки помещался кружок вареного яйца, потом укладывалось мясо, затем наливался клейкий жирный бульон. Всё это застывало в холодильнике, а когда приходили гости, то каждую формочку выворачивали, аккуратно подрезав ножиком по бокам, на блюде, и тогда сверху оказывался кружочек вареного яйца, за ним видно было мясо, и затем выстраивалась вся знатная и чуть покачивающаяся фигура холодца. Подавался чай по-скульски: крепкий, со спиртом, глинтвейн; его разливали в крошечные чайные чашечки прозрачного китайского фарфора; каждая чашка была свое-

го цвета и своего затейливого рисунка. Стояли на столе блюда с нарисованными на дне кружками колбасы. С нарисованным дырчатым сыром. Продолговатое блюдо для селедки венчалось серебристой головой с пустыми селедочными глазницами, куда надлежало запихивать перышки зеленого лука; маленькое узкое блюдо предназначалось для кильки, лежавшей на боку, скромно, словно на полке плацкартного вагона.

До двенадцати лет детей держали на кухне; мы обсасывали горячие кости от холодца, выбивали их, и намазывали на хлеб мозг и посыпали его солью; нам давали корочку от бу- женины, сморщенную попку колбасы. А с двенадцати пуска- ли за общий стол и наливали стопку водки. Считалось, что нужно дома научиться выпивать, чтобы потом, когда кто-ни- будь захочет напоить и надругаться, то ничего, сумеет девоч- ка и выпить, и за себя постоять, и честь сберечь.

И вот когда пускали уже за общий гостевой стол, мама любила, заев первый голод дородной селедочкой, рассказать скверный анекдот моего рождения, посмеиваясь и приучая и меня подсмеиваться над всем родным и близким. Якобы она не знала до пяти месяцев беременности о своем состоянии. Якобы подозревали у нее язву, воспаление и даже рак же- лудка, и травили ее всевозможными лекарствами. А живот всё рос и рос. И надежды, получается, на спасение никакой не было. И тут-то Надежда Петровна Половьянова, мамина подружка по фабрике, и говорит моему отцу:

– Гриша, мне кажется, вы должны подарить Рае черную юбку, которая у всех жен есть, только вы никак не соберетесь, и еще отрез на черную юбку, которую ей давно прилично бы иметь.

И помогла отцу всё это приобрести. И он подарил маме. И мама пошла к портнихе шить юбку. А портниха ей говорит:

– Что же это вы, в вашем положении, юбку узкую шить собрались?

– Вы думаете, я и поносить не успею? – спрашивает мама, понимая, что дни ее сочтены и рак ее доедает.

– Конечно, не успеете! Вот как вас разносит!

– Да это муж хотел меня на прощание порадовать, – отзывается мама.

– На какое это такое прощание? Вот родишь, так и будешь юбку строить, а так талия-то от примерки к примерке ширится.

Мама охать и ахать, а портниха знай посылает ее на беременность, а не на рак провериться.

Так и выяснилось, что мама мною беременна.

Отец страшно обрадовался.

– Я этой радости ему никогда не прощу! – кричала мама, поскольку привыкла командовать большим коллективом на фанерно-мебельном комбинате, а там всегда еще грохот, так что говорить тихо не умела. – Я ему говорю: «Ты моей смерти захотел!» – И дальше припоминалась отцу какая-то лодочка, на которой он с кем-то поехал кататься, воспользо-

вавшись тем, что мама как раз умирала родами, производя меня на свет.

И тут еще почему-то отцу в укор напоминалось, что родилась я 8 августа 1950 года, ровно через девять месяцев после смерти маминой мамы, Цили Львовны, которую папа никогда не любил.

И вот мама велела папе пойти в ЗАГС и записать меня Цилей в честь своей мамы. Папа, и правда, тещу не любил и решил назвать меня не Цилей, а Лилей. В ЗАГСе ему сказали, что такого имени нет, можно назвать Лилией, Лилианой, а Лилей нельзя.

– А какие еще есть красивые имена? – посмотрел папа на женщин.

– Греческие имена красивые, – кокетливо сказала одна. – Елена, например.

– Пусть будет Елена, – согласился папа.

Но дома не решился маме признаться в греческой своей склонности, и довольно долго я не знала, что я вовсе не Лилия...

Но я хотела рассказать совсем другую историю – про лису. Ведь по совету Надежды Петровны Половьяновой папа подарил маме не только отрез на юбку, но и полновесную черную бурку, которая непременно должна была быть у жены фронтового офицера. В пять лет я стала шить маленьким куклам наряды, и чем меньше была кукла, тем шикарнее и тщательнее я ее наряжала. У нее было и зимнее пальтецо с капюшо-

ном, и муфточка, и варезки. Я мечтала о совсем крошечной куколке, но чтобы у нее крутились и ручки и ножки – так удобнее было ее наряжать. И мама однажды привезла мне такую из Москвы – это был единственный мамин подарок за всю жизнь, который, действительно, меня осчастливил. Маленькая беленькая куколка была у меня в руках. Ручки и ножки крутились. Я легла с ней спать и даже не злилась на крики гостей за стенкой (громче всех мама); обычно в таких случаях я ее вызывала и просила быть потише, она прерывала хохот, входила ко мне, шипела с раздражением и неудовольствием, и выходила, хохоча, обратно к гостям.

А чернобурка по-прежнему украшала мамины плечи. Шила я из обрезков и лоскутков, и как-то само собой родилось подозрение, что я могу отрезать кусочек лисьего меха на шубку куколке. И тогда мама с Надеждой Петровной рассказали мне такую историю. Жила-была такая вот девочка, как я. И у нее была мама. А у мамы была... рыжая лиса. Да, рыжая. И девочка решила из этой рыжей лисы сшить шубку своей кукле. Не маленькой кукле, а большой. И отрезала кусок от маминой лисы. Приходит мама домой и видит, что лиса ее покалечена.

– Ты что натворила?! – кинулась она к дочке. – Ты как смела лисичку изрезать?!

А дочка перепугалась, и как закричит:

– Мамочка, так лисичке ведь не больно!

– Ах, не больно?! – рассердилась мама, – не больно?! –

схватила она ножницы и изрезала своей доченьке руки.

– И началось у дочки из-за этого заражение крови... – добавила мама.

– И умерла девочка, – присовокупила жалостливо Надежда Петровна.

– Правда, мама эта от горя потом повесилась... – сказала моя мама и посмотрела на меня с укором.

Дагерротип

В семейном альбоме сохранился у нас коричневый дагерротип начала 1917 года. С отцом, пятилетним, на деревянном, с тщанием сработанным троне, в бобровой шапке, в шубе, со скипетром из медных обрезков в одной руке, и второй рукой на холке пони; с бабкой отца, огромной и разбросанной, как заросший чертополохом сад, еще в мощи, собравшейся ехать от фотографа на прием к генерал-губернатору.

Бабка отца, моя прабабка, в девичестве Виноградова. И прадед Виноградов. Были они близкими родственниками, числились двоюродными братом и сестрой, но, думаю, родство их было еще ближе и страшнее, что-то зловещее и роковое тянуло их друг к другу. У них родилось двенадцать детей, не все были полноценными, и моя бабка, папина мама, Роза Липовна Виноградова оказалась глухой. Она родилась без барабанных перепонки. Но ее выучили артикулировать и пользоваться голосовыми связками; страстное голубиное мычание глухонемых с их напряженными, тискающими воздух жестами было ею тоже освоено. Она говорила по-немецки (в русские школы для глухих евреев не принимали), но потом научилась говорить и по-русски.

Всё это было в украинском городе Миргороде, городе теплой волнистой пыли, утыканной перезрелыми вишнями. Прадед, Липа Виноградов, владел мельницей и даже (исключо-

чение для еврея) стал купцом второй гильдии. На мельнице работали его сыновья, заразившиеся впоследствии революционными идеями и попытавшиеся в 1905 году водрузить красный флаг среди отчей муки. С белыми лицами их свезли в Сибирь, и вернулись они только к 1917-му с крепко вбитыми в головы идеями абсолютизма.

Глухой моей бабке Розе Липовне Виноградовой на мукомольные деньги был приобретен красавец-бедный-студент Михаил Скульский, получавший профессию врача. Во время свадебного путешествия они побывали в миланской опере и покачалась в венецианской гондоле.

В Первую мировую мой прадед, Липа Виноградов, открыл бесплатную столовую и больницу для евреев-беженцев, гонимых отовсюду; евреи считались неблагонадежными.

В 1917 году мой дед, красавец-бедный-студент Михаил Скульский, стал врачом и радостно встретил революционное освобождение от богатства жены.

Отец видел его еще несколько раз, но плохо запомнил в пустоте равнодушия. Впрочем, когда Михаил Скульский умер в Харькове, то его вдова и дочь сообщили моему отцу об утрате, и отец отослал туда деньги на похороны. На всю щедрую сумму смущенные вдова и дочь купили непомерный, величиной с городскую клумбу, венок и вынуждены были нанять для него отдельную грузовую машину; борта откинули, и венок плыл над траурной процессией – нелепый и дикий, как итог любой человеческой жизни.

За моей бабушкой, уже в Киеве, уже перед самой Второй мировой войной, смачно ухаживал постовой милиционер с центральной площади. Любовь их на взбитых перьевых подушках и покрывалах с рюшами была сосредоточенна и изобильна. Но пожениться они не успели.

Отец уверял, что в молодости его мать слыла красавицей, о чем не в силах была поведать ни одна из сохранившихся фотографий.

В Таллине бабушка вступила в общество глухонемых. С 1962 года мы жили в четырехкомнатной квартире, отец стал известным писателем, – бабушка снова стала выгодной партией и чуть было не вышла замуж за высокого горбоносого поклонника с горящими, как у ночной птицы, глазами. Но моя мама быстро пресекла его искания, и глухонемые любовники были разлучены. Бабушке тогда было за семьдесят.

В глубокой старости, спустя лет пятнадцать – чтобы не понять по губам ответа (она понимала именно по губам, по мультипликационной смене рисунков рта) или не столкнуться с сыновним взглядом – бабушка любила повернуться к отцу спиной и выкрикивать в его адрес проклятья, немного захлебываясь в гласных.

Родители всегда уходили с ее дней рождения, когда за праздничным столом собирались одни глухонемые. А я оставалась, мне нравились их застолья. Гости были самых разных возрастов, там не было границ поколений – так всегда бывает в маленьких сообществах – у вымирающих народов, в те-

атрах, где на сцену выходят вместе старики и дети, у калек и глухонемых; их руки плели, вязали, ломали, взламывали и латали, их рты гудели в музыкальной муке, исковерканные вдохновением.

Липа Виноградов, мой прадед, не погиб во время погромов, ему удалось в 1918 году с какой-то частью семьи добраться до Австралии, до Мельбурна, и открыть там обувной магазин Виноградовых. А его мельница в Миргороде сохранилась и стала процветающим мукомольным комбинатом.

В шестидесятих годах минувшего века, пятьдесят лет назад, пришел наниматься на эту мельницу немолодой человек Олесь Житарь. Профессии у него никакой не было, и брать его не хотели, но просил он слезно – кем угодно – хоть сторожем, хоть уборщиком, хоть кем...

И вот что оказалось: во время Второй мировой войны, когда в Миргород вошли фашисты – в сентябре 1941 года – Олесь Житарь записался в полицаи, вылавливал евреев и самолично вешал их; однажды нашел он еврейскую семью в подполе дома и повел на убой вместе с укрывателями, добрыми своими знакомыми. В конце войны удалось Житарю скрыться с отступающими немцами, перебраться в Берлине в американскую зону, уплыть в Австралию, в Мельбурн. Там, наскитавшись и вконец оголодав, узнал, что рядом живут и процветают его земляки Виноградовы. Он пришел к ним в обувной магазин и рассказал, что во время войны спасал в Миргороде евреев, что одну семью даже держал у себя в под-

поле, но был разоблачен полицаями и чудом избежал казни. Виноградовы приняли его как родного сына.

И мог бы Житарь прожить совсем другую жизнь, сытую и благополучную, но затосковал, сбежал из Мельбурна, не прощавшись с благодетелями, вернулся в Миргород, пошел в милицию, сдался, сознался во всех преступлениях, получил пятнадцать лет лагерей, вышел на свободу и пришел на мельницу...

И как раз в то время, когда Олесь Житарь пришел наниматься на мельницу в Миргороде, в Таллине мой отец решил рассказать мне, как освобождал он в 1943 году маленький украинский городок.

Он вспоминал, как въехали на редакционной машине, как вывели им прямо на дорогу ранним сентябрем четырех босых полицаев. Как повесили тех горожане сразу – с грузовика – на сучьях.

Жирели на сучьях полицаи.

И пошли, сразу же пошли в танце женщины, расправляясь под деревьями, девушки в лежалых белых платьях.

Гармонист безногий сидел в теплой черноземной ямке от шины.

Пошатывало на сучьях полицаев, клонило в сон.

Сладкие пыльные листья прилипали к женским рукам.

Наливались соком, наливались сладким перезрелым запахом трупы на деревьях.

Засохшая глина женских тел отзывалась мякотью и ти-

фозным жаром.

У полицаев оттопыривались карманы на пиджаках, языки не помещались больше во рту. Свесились глаза.

Солнце прощупывало крепкие суставы веток.

И так плясали, так счастливо бились-плескались под серыми гроздьями девичьи косынки, что никогда уже отец не смог об этом написать.

Зимним вечером

Отношения с жизнью обострились, как нос у покойного.

Вчера пришел мастер и снял унитаз с насиженного места.

Или муж целится в меня указательным пальцем. Большим пальцем взводит курок, как в театре теней, рука становится волчьей пастью на стене, пальцы поджигаются, как ноги, когда под ними должны помыть пол, потом выбирают револьвер, и раздается выстрел.

– Ты на это не смотри, – говорит мне моя подруга, ты смотри на то, что он тебя все-таки любит.

Скоро буду смотреть на его любовь одним глазом.

Моя бабка была глухонемая и ходила сгорбившись. Шел солдат лесом, встретил старую ведьму, она сделала его богатым, а он взял да и ударил ее топором и зашагал дальше. С тех пор она и ходила с топором в горбу. Шла-шла от «Огнива» до «Преступления и наказания», до Алены Ивановны, моя бабка. Я, например, вышла из топора, как суп.

Если где-нибудь начинается война, я сразу туда еду. Перестрелка – все-таки диалог, это вопрос-ответ, это люди все ж таки слышат друг друга!

Мои родители очень боялись, что я вырасту эгоисткой. И ради меня усыновили еще пятерых детей. И эти пятеро, в конце концов, заставили меня проглотить осколки бутылки из-под подсолнечного масла, и осколки, когда я глотала,

пахли жирной подсолнечной взвесью с водой. Мои братья и сестры толпились у крана, брызгались, и жирные капли облепляли стены, и они вымыли бутылку кое-как, для будущего следствия, во время которого они могли бы сказать:

– А мы бутылку вымыли!

Когда моя бабка умирала, то страшно кричала. Немые кричат еще громче, чем живые. И топор торчал у нее из спины. И тогда моя старшая сестра, врач, пожалела ее и заткнула ей рот кляпом из стерильной белоснежной марли, слепящей глаза. И мы все радовались, что бабушка умирала тихо и спокойно, просто угасала.

Мои родители слишком поздно поняли, что если человеку суждено вырасти эгоистом, то никакие братья и сестры ему не помогут.

– Кому суждено быть повешенным, тот не утонет, – сказал мне папа, – ты можешь сама выбрать: повесить тебя или закопать во дворе!

Мама заплакала:

– Нельзя так баловать детей! У ребенка не должно быть выбора, тогда он вырастает настоящим человеком!

Но я была у папы любимицей, и потому меня все-таки засыпали землей, и я лежала там тихо-тихо, пока не пришли гости. Тогда меня позвали в дом и накормили, и все радовались нашей счастливой семье. А я боялась только одного: что через меня пустит корни яблонька, и я не сумею их перерезать, не смогу оборвать ее жизнь.

Яблонька! Ты пустила свои корни через меня! Ты выросла, но яблоки твои червивились, как червивилась я. Каждое яблоко становилось лицом, в котором был виден ущерб рта. Лицо падало на землю, зачерпывая крик. Брюхатый холм разрешался мертвым камнем, в котором кручинилась завязь. Бельевые веревки перерезали деревьям горло, и деревья отхаркивали кроны, как кровь. Сад прорастал жестью и толью и ветшал на глазах, зарываясь в сугробы. Весной огрызки воды срисует прохлада.

– Яблонька, не плачь! Я нарву тебе яблок на память в раю!

Шуба

Вчера мою пол в коридоре, подоткнув подол и окуная вспотевшие пряди в ведро с грязной водой.

За моей спиной открывается дверь и входит племянник с намасленными кудрями.

Из-за него появляется маленький мальчик с белой круглой коробкой, в которой хранится торт.

Они проходят в комнату, где вчера умерла моя мама.

Со мной они не здороваются по случаю моего траура и моей утраты.

Мама радостно вылетает из комнаты, гарцуя на костылях, и начинает кусать белый картон, охраняющий торт.

В торте есть вишенки с косточками.

Если косточку сжать указательным и большим пальцем, выстрелить ею и точно рассчитать, то можно попасть в глаз.

Маленький мальчик зарывается рукой в сгустки крема и выволакивает косточку – темную, как зрачок.

Но делать нечего: гость сам вынимает один глаз и кладет его возле тарелки, чтобы спокойно выпить водки на траурной вечере.

Я выжимаю тряпку и утираю лоб. Этого гостя я вовсе не знаю. Вероятно, это он убил маму, раз пьет здесь рюмку за рюмкой и не может остановиться.

Никто не принес цветов: ни тяжелых, как медь, гладио-

лусов, ударяющих в спину, ни непотребных тюльпанов, раскрывающих ноги, как только их поставишь в вазу и перестанешь на них смотреть, ни белых гвоздик со сладкой пеной безумия на зеленых стеблях, даже осенняя одышка астр не колеблет воздух.

В ванной я слышу тяжелое дыхание, но никого не вижу, потому что дверь закрыта. Если бы там горел свет, то можно было бы лечь на пол, и щелка между дверью и полом послала бы тоненькое письмо со некоторыми разъяснениями, хотя и весьма туманными, как водится в ванной. Но свет погашен, и я только слышу, как она, задыхаясь, просит его:

– Скажи, скажи мне что-нибудь хорошее!

– Шуба!

– Шуба?

– Шуба, шуба! Ты просила что-нибудь хорошее. Хорошее у тебя только шуба!

И он вылетает из ванной, хлопнув дверью и сбив мое ведро с грязной водой. Тряпка шлепается на пол и пытается догнать ведро, но не может. Тряпка ползет с отбитыми внутренностями, еле приподнимая голову. А ведро выкатывается на лестничную площадку и летит вниз, припрыгивая молодецки, как ухарь, обманувший деревенскую простушку, и вылетает во двор и успевает напасть и сбить с ног и даже укусить своей пастью, искореженной в дороге, почтальоншу, готовую в другое время ко всему, но тут разнежившуюся по случаю поминок в нашей квартире, куда она несет траурные

телеграммы и предвкушает, как ее посадят за стол, и поднесут холодной водочки, и дадут закусить теплой рассыпчатой картошечкой и селедочкой с мелким зеленым лучком, и пойдут разговоры такие добрые и сытные, как бывает, когда заедают горе, только с селедочкой надо быть осторожно: вовремя замечать белые острые тонкие косточки и прихватывать их зубами, как сапожник прихватывает гвозди, починяя подметки.

Красный бантик

Мама говорила, что в детстве ее звали «Красным бантиком». Они жили бедно, у мамы с сестрой на двоих был один красный бантик. Сестру звали Зиной, она умерла, когда ей исполнилось восемнадцать лет. От неудачной операции аппендицита. Так считалось. Но скорее всего Зину заставили сделать криминальный аборт и приняли ее смерть как неизбежную издержку справедливости.

Мама утверждала, что родилась она 30 октября 1916 года в Астрахани ровно через одиннадцать месяцев после того, как ее отец, Владимир Фельдман, ушел на Первую мировую войну и погиб, оставив вдову с тремя детьми, – был у мамы еще старший брат Лёва.

В четырнадцать лет мама поступила в Киев на рабфак, встала к токарному станку, потом выучилась на инженера. Но еще до института, в шестнадцать лет, она встретила моего отца, и они всю жизнь праздновали годовщину первого поцелуя. Был такой отдельный семейный праздник.

С самого раннего детства мы с сестрой знали, что нет ничего страшнее потери невинности до брака. Потому что, если можно за день до свадьбы, то можно и за два дня, а если можно за два дня, то можно и за месяц, а если можно за месяц, то почему бы сразу не выйти на панель. Это говорилось с таким омерзением к нашим возможным порочным наме-

рениям, что мы обе чувствовали себя преступницами.

Когда моя восемнадцатилетняя сестра собралась замуж, мы всей семьей перед самой свадьбой поехали в Коктебель, к Черному морю. После обеда родители ложились отдыхать, а меня, семилетнюю, поручали сестре и ее жениху, чтобы я не пошла одна к морю и не утонула. Так мамина слезка за женихом и невестой не прекращалась ни на минуту.

Прошло одиннадцать лет, сестра давно развелась с мужем (думаю, разлад у них начался как раз тем летним южным солнечным кошмаром). И я пережила свою историю любви – предмет нескончаемых шуток и издевательств в нашей семье.

Моей первой любовью был угрюмый футболист Виталик Суслов, мы учились в одной школе.

– Что, «грызуны» у нас или уже ушли? – спрашивали то мама, то сестра, входя в дом.

Папа добавлял:

– Я не слишком высоко мнения о твоих достоинствах, но с ним ты выглядишь королевой рядом с кучером.

После школы Виталик поступил в пограничное училище в Алма-Ате. Прилетел после первой сессии. Мы решили тайно пожениться. Но восемнадцать лет мне исполнялось только 8 августа 1968 года, а был июнь, и заявление у нас не приняли.

Сестра жила отдельно от родителей и дала мне ключи от своей квартиры.

Солнечным утром мы с Виталиком оказались в квартире

сестры. Нам было страшно. На кухне были отдернуты занавески, а в комнате томился полумрак, видна была широкая тахта, одеяло, подушки. Впереди был целый день. Мы выбрали кухню и стали пить чай.

И вдруг в дверь позвонили. Один раз, второй, пятый. И мой отец закричал из-за двери:

– Лиля, открой, открой немедленно, я знаю, ты здесь!

Отец звонил, кричал, колотил в дверь, и мы сдались. Отец схватил меня за руку и повел домой. Шли молча. У нашего подъезда я спросила:

– Как ты узнал?

– Сердце подсказало! – ответил отец и постучал себя по левой стороне груди.

И так я ему верила, так любила, что до самой его смерти не усомнилась в этом ответе.

Зачем моя сестра одной рукой отдала мне ключи от своей квартиры, а другой набрала папин номер телефона, я никогда не узнаю. Не из-за того же, что я, не подозревая, мешала ей в Коктебеле? Я не охотница до чужих тайн. Хотелось бы верить, что она это сделала из страха перед мамой, перед немеркнущими ее запретами, а не потому, что сладко представляла себе мое унижение, растерянность, позор. И все-таки: отец приехал через час после того, как мы с Виталиком вошли в квартиру, значит, сестра точно рассчитала, когда ему позвонить.

Зачем поехал меня выручать из беды отец? Он нравился

женщинам, легко увлекался, ухаживал. Принимал жизнь во всех ее изгибах и искривлениях.

Тут, что ли, дело в том, что ни у матери, ни у отца не было нормальной семьи – они не знали, как правильно воспитывать детей, как с ними обращаться. И маме – категоричной и решительной – легко было здесь взять верх над отцом, убедить его в своей правоте, в правоте расстрельных сталинских законов... Может быть...

Мне всегда было их жалко, мне всегда было жалко их спрашивать.

Через год я узнала, что Виталик женился в Алма-Ате. Я рыдала так горько и безнадежно, что родители перепугались. Мама встала передо мной на колени и произнесла тем театрализованным, надрывным голосом, которым всегда пользовалась в патетические минуты:

– Доченька, маме можно сказать всё!

И я моментально подключилась к этой ее самодеятельной, почти неприлично-надрывной интонации пошлого дачного театра и выкрикнула, икая от слез:

– Я была близка с ним!

В эту же секунду мама поднялась с колен:

– Не смей подходить ко мне, шлюха, пока не найдется какой-нибудь идиот, готовый прикрыть твой позор!

Идиот нашелся довольно быстро. Это был студент-физик из Ташкента: мы с ним познакомились в год моего шестнадцатилетия, путешествуя по Волге – он с сокурсниками, я –

с родителями, отвлекавшими меня от «грызунов».

И вот спустя какое-то время в ресторане, где гуляли мы шумной и пьяной компанией, муж прокричал мне на ухо, перекрывая оркестр:

– Знаешь, что я узнал? Я не сын своих родителей, я, оказывается, подкидыш. Родила меня Дина, из семьи репрессированных, попала во время войны в Ташкент. Была красавицей, содержанкой, забеременела от кого-то в сорок шестом. Голодала. Мои дальнейшие родители помогли ей – мама заведовала хлебными карточками, многих спасла; в сарае у нас, ты видела, полно драгоценных вещей. Вроде бы наполовину я еврей, на вторую – не знаю. Надо маму расспросить, я еще не говорил с ней.

– Не вздумай ничего говорить своей маме! – заорала я. – Это не твоя тайна, это ее тайна, ты не смеешь ее у нее отбирать! Молчи!

Он засмеялся зло:

– А что ты так засуетилась? Боишься, что и ваши тайны откроются?

– Какие же у нас тайны?

– А мой дядя стал рассматривать наши с тобой свадебные фотографии. И узнал твою маму. Он был в Киеве с ней знаком. И она была замужем за совсем другим человеком...

Тут важно, что этот разговор муж припас для ресторана, так он представлял себе шикарное роковое объяснение. И в этом перекрикивании оркестра, в пьяном буханье ударных,

в сдвинутых ногах белых клавиш с подбритыми полосками черных сверху, в подгоревших жирных котлетах, запитых бурой смесью ликера «Vana Tallinn» с шампанским, в провинциально отставленном для ловкого танцевального маневра крепком, как волейбольный мяч, заде моего мужа, в его уездном ликовании, в моей растерянности была неизбывная, крикливая, истеричная, жалкая доля самодеятельного театра, в котором воспитывала нас наша мама.

Мамы десять лет уже нет в живых. Мне никогда не приходило в голову копаться в ее тайнах. Незадолго до ее смерти я только спросила у нее, уже прикованной к кровати, угасающей:

– Почему ты гнала меня замуж? Мне не было двадцати, и я его не любила...

– Сама знаешь! – глухо откликнулась восьмидесятишестилетняя старуха.

– Мама, так ведь у меня с Виталиком ничего не было, я тебе много раз говорила.

И тут мать поднялась с подушек, глаза ее вспыхнули торжеством возмездия, она прокричала своим прежним командным голосом, которым, наверное, распекала нерадивых работников цеха строганого шпона на фанерно-мебельном комбинате:

– Ах, не было?! Да я же вскрыла ящик твоего письменного стола и прочла все его письма, там было сказано, я помню дословно, наизусть помню: «Никогда не забуду радость, ко-

гда кровь стекала по твоим ногам!».

Меня вырвало. Просто вырвало, больше ничего.

Мама

Ночью он зашел в ее комнату: невозможно было ничего найти в этом доме — записная книжка, он помнил, завалилась за шкаф, он пошел открывать дверь, вернулся, зазвонил телефон, он помнил, что книжка под шкафом и решил найти ее позже, а потом уже не нашел, так прошел день, он зашел в ее комнату и раздумчиво стоял в темноте: если прикрыть ее лицо подушкой, она не проснется. Он не приближался к ее постели. Ей будет сниться, что кто-то ее душит, и она во сне будет знать, что в самый последний момент, когда маслянистые круги солнца расползутся по воде, она проснется; так всегда бывает во сне. Подушка была шелковой: на зеленом были вытканы мелкие красные цветочки, похожие на бруснику, на корь, рассыпанную по лицу в детстве, — нельзя расчесывать, если содрать корочку с брусничного бугорка, то навсегда быть с оспинкой, крохотной печатью, оставленной копытцем кузнечика.

Он приблизился к ее постели. Он стал сковыривать брусничный бугорок. Шелк рвался медленно, впиваясь в пальцы, как удавка; шелк хитрил как женщина, тоненькая красная нить разрежала подушечку пальца; нить потянула за собой всю зеленую гладь, по шелку прошла рябь, и в комнате стало холодно.

Она все равно спала.

Если сейчас прижать подушку к ее лицу, то уже не будет ни детской кори, ни брусничного пирога на ее поминках – с сероватым тестом и кислой начинкой, и кузнечик не будет сидеть, горюя, вытянув губы для поцелуя.

Он стоял у ее постели, но ему казалось, что он уже сбежал от нее. Он бежал по каменным ступеням города, он бежал дребезжащим трамваем на повороте наклоненных рельсов, он бежал грузовиком, выбрасывающим из своего кузова дрова и мчащимся дальше налегке.

Светало. За окном сирени поднимали заздравные кубки, наполненные отравой. И картавое, сиреневое это месиво во рту наполнило его решимостью.

– Мама, – позвал он – и попробовал увидеть ее силуэт на диване, ведь еще не рассвело окончательно, еще могла бы она маленькой тенью без запаха тронуть подушку зеленого шелка.

Она молчала, не хотела просыпаться. Ей бы только спать и спать. Пожалуйста! И он схватил подушку и давил ее лицо до тех пор, пока она не поняла, что уже не сон, уже не маслянистые блики на воде, что уже никогда не проснется, никогда, никогда, никогда.

Зоинька, ты кто?

Моя сестра поехала учиться в аспирантуру в Москву. И завелась у нее там подруга. Пышная, красивая с остановившимися темно-вишневыми глазами; была она похожа на Анну Каренину, величественно несущую себя под поезд, только ждущую, пока с ней поравняется мягкий вагон.

Сестра объясняла сонную трагичность своей подруги и ее обморочный вишневый взгляд несчастной любовью. Собственно, даже не несчастной, а взаимной, но дело в том, что он женат и, конечно, был бы готов тут же развестись, но обожаet дочку, девочку четырех лет; девочка часто болеет, только что ей вот вырезали гланды, а жена, мать девочки, просто чудовище, просто мразь какая-то, дрянь, у нее бы дочку отнять, но не получится, — и сестра просто задохнулась от ненависти.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.